

Анатолий Корчинский
«Былое и думы» А. И. Герцена:

ПЕРФОРМАНС ИСТОРИИ И ДИАЛЕКТИКА
НЕ-ОТРИЦАНИЯ

Anatoly Korchinsky

My Past and Thoughts by Alexander Herzen: The Performance of History
and the Dialectics of Non-negation

Анатолий Корчинский (Российский государственный гуманитарный университет, заведующий кафедрой теории и истории гуманитарного знания; кандидат филологических наук, доцент) korchinsky@mail.ru.

Anatoly Korchinsky (PhD; Associate Professor, Chair of the Department of Theory and History of Humanitarian Knowledge, Russian State University for the Humanities) korchinsky@mail.ru.

Ключевые слова: анахрония, историческая контингентность, диалектика, не-отрицание

Key words: anachrony, historical contingency, dialectics, non-negation

УДК: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2024_186_2_67

UDC: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2024_186_2_67

В статье некоторые аспекты нарративной поэтики «Былого и дум» рассмотрены с точки зрения гипотетической реконструкции исторического воображаемого А.И. Герцена. По мнению автора работы, в этой книге писатель осуществляет кардинальную художественно-философскую критику понимания истории, господствующего в середине XIX века, выявляя неочевидные способы работы с различными пластами исторического времени и корректируя сам принцип историзма и практического действия в историческом поле. Этот мыслительный тренд предполагает понимание истории как анахроничного контингентного процесса, который может быть репрезентирован в виде специфического литературного и интеллектуального жеста, деактивирующего и переформирующего диалектическую модель исторического движения. Книга Герцена анализируется как особым образом организованная динамическая нарративная структура, открытая встречной читательской активности и намечающая контур нового (коллективного и субверсивного) субъекта истории.

In this article some aspects of the narrative poetics of *My Past and Thoughts* (*Byloe i Dumy*) are considered from the point of view of a hypothetical reconstruction of A.I. Herzen's historical imaginary. According to the author of the of the article, in this book the writer carries out a cardinal artistic and philosophical critique of the understanding of history prevailing in the middle of the 19th century, revealing non-obvious ways of working with different layers of historical time and correcting the very principle of historicism and practical action in the historical field. This thought trend suggests an understanding of history as an anachronistic contingent process that can be represented as a specific literary and intellectual gesture that deactivates and transforms the dialectical model of historical movement. Herzen's book is analysed as a specially organised dynamic narrative structure, open to open to reader response and outlining the project of a new (collective and subversive) subject of history.

Ниже я попробую поразмышлять о «Былом и думам» в тех теоретических координатах, которые были намечены во введении к настоящему блоку статей. На мой взгляд, «записки» Герцена представляют собой текст, сам корпус которого схватывает и поэтически осмысляет смещение от одного представления об истории к другому. В отличие от других текстов, где так или иначе манифестируется трансформация герценовского понимания исторического процесса (например, «С того берега», «О развитии революционных идей в России»,

«Русский народ и социализм»), «Былое и думы» — это своего рода жест художественной (само)деконструкции авторского исторического воображаемого, тесно связанного с доминирующей формой историзма¹ своего времени. Эта книга интересна тем, что она не просто показывает сопряженный с драмой жизни Герцена процесс вызревания у него иной, альтернативной модели истории, а перестраивает эту модель путем столкновения поступательного «сюжета» и анахроничной наррации прямо по ходу повествования, вовлекая в этот эксперимент читателя.

Я буду отталкиваться от двух концепций, в которых «сюжет» «Былого и дум» рассматривается как средоточие герценовского понимания историчности. Во-первых, это концепция Ирины Паперно, согласно которой структура «Былого и дум» возникает как характерное для эпохи совмещение *Bildungsroman*'а и гегелевской «Феноменологии духа» — главного диалектического «сюжета» современного историзма [Паперно 2004]. Вторая значимая для меня концепция принадлежит Илье Клигеру [Kliget 2007], который находит, что соотношение личного и всеобщего в тексте Герцена организовано при помощи синекдохи как ключевой тропологической стратегии, что коррелирует, с одной стороны, с романтическим пониманием фрагмента как отсылки к целому, придающему произведению единство, и, с другой стороны, опять-таки с гегелевской историософией, в которой частные истории органически вливаются в историю всемирную. Оба исследователя полагают, что внутри «сюжета» книги имеется перелом. Это разочарование, которое принесла с собою революция 1848 года и последующие события «семейной драмы» Герценов — от истории с Гервегом до смерти Natalie. После этого, когда временной план рассказываемых событий синхронизируется с временным планом рассказывания, «записки» теряют сюжетность, что соответствует утрате линейной поступательности в представлениях автора об истории.

Мне кажется, все эти идеи совершенно справедливы, но в них узнается аргументация, близкая той, которую использует Х. Уайт при анализе научного и философского историзма XIX века: «построение сюжета» (*emplotment*) и базовый троп (синекдоха) увязываются с «мировой гипотезой» (органицизмом)². Однако «Былое и думы» не строго историософское сочинение и своей литературности этот текст не скрывает. А значит, необходимо учесть его художественную стратегию, в частности характер наррации как запечатленной в тексте серии «порождающих повествовательных актов» [Женетт 1998: 62]. Главное, что, на мой взгляд, позволит учесть такое чтение «Былого и дум», — это ретроактивность повествования, когда рассказываемое прошлое и сам принцип его репрезентации определенным образом трансформируются в процессе рассказывания. С моей точки зрения, именно здесь кроется специфика исторического воображения, воплощенного в этой книге.

Поэтика анахронии

Работа воображения проявляется не только в создании литературного вымысла как такового, но и в характере самих процессов отбора (селекции) и рас-

1 О конкурирующих видах современного историзма см.: [Bevir 2015].

2 И. Клигер прямо ссылается на Уайта (а также на П. Рикёра) [Kliget 2007: 134].

становки (комбинации) материала [Iser 1991: 24—35]. Строго говоря, в тексте Герцена вымысла нет. Лидия Гинзбург считала конститутивной для «Былого и дум» «установку на подлинность» [Гинзбург 1977: 249], отличающую книгу от всех вариантов современного романа, включая исторический. Ключевой стратегией автора здесь является такая работа с автобиографическими данными, когда психологические аспекты событий, о которых можно узнать из сопутствующих его созданию эго-документов, уходят на второй план, а на первый план выводятся их *исторические* черты. Это проявляется не только в том, что автор изображает характерные типы эпохи (образ своего отца, образ Станкевича, Белинского, Энгельсона и мн. др.), но и, например, в том, что сама эта эпоха подчас предстает как современность, в которой присутствуют черты других времен. Интересен пример, который Гинзбург приводит в качестве характерного: «Коллизия Кетчера и Серафимы — не психологическая коллизия двух любовников, обладающих разными социальными навыками, но коллизия двух культурных стадий, двух “возрастов человечества”» [Там же: 258]. Таким образом, историчность Герцена чувствительна к наложению времен, к синхронности асинхронного. К природе этой анахронии³ и кейсу Кетчера и Серафимы мы еще вернемся, а пока, запомнив это понятие применительно к герценовской методике отбора сюжетного материала, обратимся к «акту комбинации» [Iser 1991: 40—42] — к тому, как устроено повествование «Былого и дум» с точки зрения нарративной упорядоченности.

Нетрудно заметить, что практически с самого начала становления текста (а текст книги, создававшийся на протяжении без малого двух десятилетий, на всех этапах фиксирует процесс своего создания) повествование в нем подчиняется принципу двойного движения: во времени движется не только рассказываемая история, но и сама история ее рассказывания. Герцен не просто создает и публикует различные части «записок», всегда «отчитываясь» в паратекстах (вступлениях, предисловиях, дополнениях, эпилогах и т.д., которые сразу же интегрируются в корпус «Былого и дум») об обстоятельствах их написания и публикации, а также о соотносительности своих актуальных дел с развертыванием основного «сюжета». Кроме этого, делящийся и меняющийся «план наррации» постоянно вторгается в сам «сюжет» посредством разного рода аналепсисов и пролепсисов, которые, согласно теории Жерара Женетта, являются главными инструментами упорядочивания повествования [Женетт 1998: 69—116]. Рассказываемая история буквально пронизана этими анахроничными отсылками, скачками и зигзагами, то и дело разрывая и останавливая сколько-нибудь плавное развертывание «сюжета». Линейность этой «авто-историографии» [Kliger 2007: 103—104] нарушается как «по вертикали» — челночными движениями между повествовательными уровнями, так и «по горизонтали» — разнонаправленными смещениями и смешениями нарративной темпоральности. Может быть, самым ярким, а также, конечно, вызывающе-

3 Используем, вслед за Ж. Рансьером [Рансьер 2016: 222], это нейтральное слово (которое далее — в духе Ж. Женетта — приобретет достаточно конкретный нарратологический смысл), отличая его от собственно «анахронизма» как явления чисто «сюжетного» и характерного, согласно Х. Уайту [White 2014], именно для исторических романов XIX века, в отличие от сциентистской историографии, не утрачивших возможность говорить об истории как об увлекательном и — эстетически, этически и политически — актуальном для современного читателя материале.

ироничным примером такого рода анахронического жеста является эпизод из главы XXI части третьей, где Герцен, описывая разлуку с Natalie, вдруг осознается, что, рассказывая во второй части о вятской ссылке, «забыл» упомянуть столь значимого для него персонажа, как Карл Иванович Зонненберг, который жил с ним все время его пребывания в Вятке (VIII, 334)⁴. Здесь аналепсис, который возвращает нас к теме ссылки внутри части, посвященной женитьбе, осложняется пролеписом, отсылающим к акту наррации, тоже лишенно-му фиксированной временной «прописки», и тем, что Ролан Барт называет «шифтерами организации дискурса» [Барт 2019: 360], указывающими на самого нарратора и его деятельность, связанную с рассказыванием настоящей истории. У Герцена мы постоянно встречаем такие шифтеры: «после того, как я писал это» (VIII, 148); «когда я в первый раз писал эту главу» (IX, 169); «мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими» (X, 17); «мне пришлось совершенно случайно перечитать мой рассказ» (XI, 125) и проч.

Задержимся ненадолго на таких пролеписях с шифтерами. Женетт пишет, что обилие всевозможных антиципаций, которое он находит у Пруста, вовсе не характерно для «классической» концепции европейского романа (Бальзака, Диккенса, Толстого и др.) с его «заботой о напряженном читательском ожидании» и «условной фигурой повествователя, который должен казаться как бы открывающим для себя историю непосредственно во время изложения» [Женетт 1998: 100]. «Былое и думы» при всех возможных оговорках, конечно, не роман, но, если в книге есть нарративная интрига, она менее всего ориентирована на последовательность изложения, синхронную акту наррации или реценции.

Какова же, по Женетту, функция пролеписа? Сначала, упоминая о распространности этого приема в древних эпосах («Илиаде», «Одиссее» и др.) и ссылаясь на «Поэтику прозы» Ц. Тодорова, он говорит о создаваемом такими предвосхищениями эффекте предопределенности происходящего. И действительно, когда читателю, находящемуся, скажем, в начале истории, нарратор раньше времени сообщает о грядущих событиях, вольно или невольно создается впечатление известной заданности хода событий. О похожем эффекте писал и Ролан Барт в «Дискурсе истории», где он тестирует различие между историческим повествованием и романским нарративом. Барт полагал, что в историописании шифтеры, «с помощью которых субъект высказывания... организует свой собственный дискурс» [Барт 2019: 360] и тем самым совершает анахронический сдвиг в структуре повествования (нарратор обнаруживает себя на временной оси, как бы находясь в двух точках одновременно), существуют вовсе не для того, чтобы внести в рассказ элемент субъективности или исторической относительности. Напротив, Барт утверждает:

Присутствие в историческом повествовании эксплицитных знаков акта высказывания позволяет «дехронологизировать» «цепь» исторических событий и восстановить в правах — хотя бы в порядке реминисценции, ностальгии — время сложно-параметрическое, отнюдь не линейное, по пространственной глубине на-

4 Здесь и далее «Былое и думы» цитируются по изданию: *Герцен А.И. Собр. соч.:* В 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954—1965. В тексте в круглых скобках указываются номер тома и страницы.

поминающее мифическое время древних космологий, которое тоже было существенно связано с речью поэта или прорицателя; действительно, организационные шифтеры утверждают (пусть и внешне рациональными средствами) предсказательную функцию историка, — подобно рассказчику мифа, он знает то, что еще не поведано, и именно поэтому вынужден дублировать хроникальное развертывание событий отсылками к времени своей собственной речи [Там же: 362].

Применительно к Герцену такая «священная» функция антиципаций и авторских шифтеров, позволяющая демонтировать линейное время за счет актуализации архаических повествовательных ресурсов (прежде всего эпоса), заставляет вспомнить осторожную идею Гинзбург о «Былом и думах» как «эпопее» [Гинзбург 1957: 49] и, может быть, более радикальную мысль Натальи Дуловой об *эпической* «целокупности» и «бесконечности бытия» [Дулова 1998: 44–55]. Однако не будем спешить и вернемся к Женетту. Он полагает, что в наш современный век, например у Руссо и Пруста, пролепсисы как сближение разных нарративных времен выполняют уже несколько более приземленную, но не менее важную роль: «Они свидетельствуют об интенсивности нынешнего воспоминания и тем самым как бы удостоверяют подлинность повествования о прошлом» [Женетт 1998: 102]. Здесь на ум приходит «установка на подлинность» как базовое качество «Былого и дум». Сам Герцен интересно высказался в связи с актом воспоминания и оформляющими его нарративными техниками. В предисловии 1860 года, ссылаясь на свое одиночество в Англии, он пишет: «История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина» (VIII, 10). Что это за истина? Может быть, она синонимична «подлинности» той истории, которую мемуаристу хотелось бы рассказать? Возможно, в каком-то смысле интенцию создания «Былого и дум» можно истолковать как стремление правдиво поведать обществу «историю семейной драмы», выступить свидетелем или даже адвокатом на гипотетическом «суде истории»?

Однако, думается, и амбиция у Герцена масштабней, и подобный способ сочетания личного с историческим не совсем герценовский. При этом, следуя указанию Женетта, кажется, можно кое-что нащупать.

Итак, Женетт говорит, что анахронические элементы в повествовании, в особенности пролепсисы, создают специфическую «интенсивность» самого акта воспоминания-рассказывания, которая, однако, не сводится к самодостаточному пребыванию в континууме памяти (наподобие ностальгии, о которой упоминает Барт). Они «удостоверяют подлинность» самой действительности прошлого. У Герцена встречаются размышления об этом. Например, вспоминая счастливый момент возвращения из ссылки и встречу с будущей женой, он замечает: «Я растягиваю рассказ, чтоб дольше остаться с этими воспоминаниями, хотя и вижу, что слово их плохо берет» (VIII, 364). Здесь, с одной стороны, имеет место обычная ситуация невыразимости воспоминания на письме. Автометаописание процесса воспоминания-рассказывания констатирует его неудачу, поскольку слово «плохо берет» вспоминаемые события и переживания. Однако же рассказ продолжается несмотря на это, и перед нами предстает довольно подробная и эмоционально окрашенная картина прошедшего. Так автор указывает на условность и «художественность» подобного воссоздания прошлого в памяти. Но делает он это не с помощью слов о силе но-

стальгического вживания, а посредством перформативного жеста анахронического вмешательства в развертывание истории, «удостоверяя подлинность» рассказываемого. В результате прошлое вовсе не актуализируется, не приближается к нам в акте воспоминания-рассказывания, не обращается в *praesens historicum*. Оно обретает действительность именно в качестве отсутствующего, а вернее — виртуального (в делёзовском смысле), не актуализированного, но реального⁵. Обладая собственной реальностью, прошлое принципиально не может быть рассмотрено как предопределенное (вопреки архаичной функции антиципаций, о которой писали Тодоров и Барт). В этом смысле интрига герценовского повествования, возможно, состоит именно в том, чтобы, забегаая вперед и открыто указывая на события, ожидающие героев в будущем, дать читателю почувствовать непредрешенность происходящего.

В таких анахронических жестах особую роль играет их связь с читательским восприятием. Н. Дулова указывает на характерные для Герцена «лирические обращения» (прежде всего к друзьям, ушедшим и здравствующим), которые так же «вдруг» прерывают сюжетное развертывание [Дулова 1998]. Здесь, как верно замечает исследовательница, проявляет себя романтическая традиция лирического послания и эпистолярная. Но в более широком смысле это можно связать с бартовскими «знаками читателя» (шифтерами, указывающими на адресата). Они, как и «знаки субъекта высказывания», в историческом дискурсе, прячущем свою литературность, обычно сведены к нулю. Однако это так именно потому, что их нулевой статус стремится создать эффект истории, рассказывающей саму себя («эффект реальности») [Барт 2019: 363]. Дискурс Герцена в «Былом и думах», напротив, всячески подчеркивает свою «художественность» и изобилует знаками анахронии. По большому счету, все эти анахронические вторжения акта высказывания в его содержание и нужны исключительно как элемент построения нарративной интриги в контексте работы с эксплицитным и имплицитным читателем, поскольку прошлое становится реальным, будучи *разделенным* с другими, общим — историческим. Герценовская «истина» прошлого обретается в преодолении одиночества, в уходе от индивидуальной субъектности. Но тут есть нюанс. Речь здесь, по-видимому, идет не о всяком прошлом и не о каждом читателе.

Можно обратить внимание, что обилие и, так сказать, плотность вмешательств нарратора в ткань основного повествования у Герцена возрастает в случаях, когда рассказывается о разного рода примерах исторической неправды и несправедливости, забытой и подавленной господствующим знанием о прошлом. Это могут быть фигуры «мучеников», пострадавших от жестокости николаевского режима (Кунгуров, Полежаев, Витберг) или же, наоборот, недостаточно известные — большие и мелкие — злодеяния (например, история Тюфяева). Но это не обычное «возвращение» забытого или заполнение исторических лакун. Судя по множеству высказываний в «Былом и думах», прошлое для Герцена не есть то, на что можно просто указать из настоящего и что можно без проблем восстановить. «Прошедшее — не корректурный лист, а нож гильотины, после его падения многое не срывается и не все можно поправить» (X, 274). Или даже так: «Небо не без туч, временами веет холодный

5 Сошлюсь здесь на глубокую разработку темы виртуального в связи с проблематикой исторического анахронизма и «несинхронного времени» у Делёза и др. [Кобылин 2016].

ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего» (X, 18). Иными словами, прошлое мертво, и усилие воспоминания есть не просто воссоздание былого, а, как говорит Герцен, «воскресение»⁶ (VIII, 10) или «спасение» (IX, 254) забытого, вытесненного из истории, потерпевшего исторический крах. В одном из дополнений к тексту («Братьям по Руси») он пишет:

За пределами былого у меня нет ничего своего, личного. Я живу в нем, я живу смертью, минувшим, — так иноки, постригаясь, теряли свою личность и жили созерцанием былого, исповедью совершившегося, молитвой об усопших, об их светлом воскресении (VIII, 397).

Вероятно, почуяв «сакральное» измерение в практике нарративной анахронии, Герцен «расколдовывает» эту стратегию, стремясь не к мемуарному или романтическому эффекту эстетической презентификации прошлого, но актуализируя такой тип исторического воображения (и соответствующего ему политическому — революционного — субъекта), в котором прошлое может получить избавление, то есть вновь состояться как настоящее, исполненное возможностей.

Это похоже на «мессианское» настоящее время (*Jetztzeit*) Вальтера Беньямина [Беньямин 2012: 246], почти столетие спустя также настаивавшего на необходимости пересборки «понятия истории» ввиду творимой от ее имени исторической несправедливости.

Контингентность и не-отрицание

По-видимому, мысль о *другом* историзме нередко возникает именно в русле гегельянской традиции, во многом в борьбе с теми чертами метафизической историчности, которые, как и альтернативные им, имеются у самого Гегеля. Герцен, как один из самых своеобразных гегельянцев, артикулирует эту альтернативу, кажется, достаточно отчетливо.

То, что он критикует (гегельянскую, но и не только) идею подчиненности истории некоему «началу», которое придает ей характер направленного поступательного движения, отмечалось неоднократно⁷. Л. Гинзбург, делая акцент на революционном характере герценовской диалектики, писала:

Исторический процесс детерминирован, но Герцен протестует против смешения понятия возможности с понятием необходимости. Разграничение этих понятий имеет важное, принципиальное значение для той упорной борьбы, которую зрелый Герцен вел против провиденциальных и вообще телеологических истолкований исторического процесса... Исторические воззрения Герцена проникнуты пафосом борьбы против всякой трансцендентности и всякой телеологии — религиозной, философски-идеалистической (в том числе и гегельянской), социально-утопической [Гинзбург 1957: 21—22].

О непредопределенном, вариативном и множественном истолковании истории у Герцена, о его стремлении совместить случайность и необходимость в последние годы писали Руслан Хестанов, Айлин Келли, Андрей Тесля и др.

6 В ином смысле этот мотив встречается у Ж. Мишле, и в другой раз было бы интересно сравнить его функцию у этих неравнодушных друг к другу авторов.

7 Первым, вероятно, был Г.Г. Шпет [Шпет 1921: 38—45].

[Хестанов 2001; Kelly 2016: 160—186; Тесля 2021]. Андрей Олейников, именуя данную тенденцию в мысли Герцена *исторической контингентностью*, связывает ее с поиском альтернативной версии историзма [Олейников 2021]. Вслед за Марком Бевиром Олейников именует такой историзм «радикальным», отличая его от «историзма развития» (*developmental historicism*), где последовательность моментов исторического времени рассматривается как тесный ряд строго обусловленных событий или процессов, среди которых нет места случайному и индивидуальному, не подходящему под тот или иной вид абстрактного тождества — типа или класса. Контингентность же, учитывая историческую причинность, не признает ее исчерпывающий характер, как правило объясняющийся метафизически, и предполагает возможность *иных* сценариев движения истории.

Обычно контингентность у Герцена находят в его «теоретических» текстах, а что же в «Былом и думах»? Здесь, как уже отмечалось, мы обнаруживаем целую поэтическую лабораторию, тесно связанную и с концептуальными решениями, и с разработкой образа, и с нарративно-коммуникативным жестом.

Герценовскую контингентность уместно определить не столько через отрицание «необходимости» (не-необходимость), сколько через отрицание отрицания «случайности» (*не-неслучайность*). Руслан Хестанов отмечает, что Герцен, с одной стороны, стремится «справиться со случайностью как с главной онтологической угрозой» [Хестанов 2001: 145], с другой — включить случай в порядок универсального (в том числе «случай» России — в контекст всемирной истории в качестве чего-то специфического и одновременно общезначимого) [Там же: 168]. В «Былом и думах» мы встречаем не только любопытные определения, но, главное, своего рода нарративную логику и поэтику «случая».

По большому счету, Герцен рассказывает всю свою историю как серию «случаев», которые, на первый взгляд, иллюстрируют какие-то более общие принципы, маркируют повторяющиеся события или крупные повороты сюжета: «случалось, что» (VII, 127); «это случалось очень редко» (IX, 180); «случилось это так» (IX, 190); «ограничусь одним небольшим случаем» (IX, 72); «не могу без смеха вспомнить этот глупый случай (X, 12); «случай этот неприятно подействовал на меня» (X, 22) и т.п. Помимо прочего, заметим здесь вновь организационные шифтеры, размечающие повествование. Логически такие «случаи» не сводятся к отношениям общего и частного: общего суждения и его иллюстрации. Скорее в герценовском тексте они играют роль того, что Дж. Агамбен называет «примером», который выходит за пределы антиномии универсального и единичного, когда «тип» или «класс» явлений одновременно принадлежит и не принадлежит сам себе:

...пример характеризует в первую очередь то, что он справедлив для всех случаев внутри избранного класса и в то же самое время он включен в него как один из этих случаев. Он является неким единичным среди прочего единичного, но это единичное, однако, может замещать собой любое из этого единичного, ибо он соответствует каждому из них. С одной стороны, каждый пример рассматривается как некий частный, конкретный случай; но в то же время подразумевается, что он не может рассматриваться как нечто частное. Не будучи ни единичным, ни общим, пример — это некий единичный объект, который... позволяет увидеть свою единичность как таковую [Агамбен 2008: 16].

Думается, эта логика может быть полезна и для понимания соотношения лично- и общеисторического у Герцена, которое, по-моему, не сводится ни к одному из уайтовских тропов, характеризующих преобладающие в классическом модерне виды историзма, в частности к синекдохе и связанной с ней «органицистской» модели объяснения истории [Kliger 2007: 122]. «Случай» у Герцена не «анекдот» и не «притча», не случайность и не неслучайность, так как постулирование чистой случайности (как и культ единичного в истории) — это тоже метафизический принцип, другая сторона предопределенности. Вот почему, помимо прочего, герценовская контингентность не совпадает с установками романтического историзма, который иногда напоминает.

Рассмотрим серию «случаев», в которых Герцен, на мой взгляд, раскрывает свое понимание случая как фактора истории.

В четвертой части «Былого и дум» есть три как бы мимолетных истории, образующих своеобразный сквозной нарратив. Это, во-первых, история брака Огарева и Марии Львовны Рославлевой, во-вторых, «пример» собственного адюльтера Герцена с горничной и, в-третьих, уже упомянутый выше рассказ о мезальянсе Кетчера и Серафимы — девушки из «пролетариата». Эти три эпизода отчетливо связаны между собой мотивом неравенства (как в гендерном и имущественно-статусном смысле, так и — главным образом — в плане умственного развития участников этих недолгих союзов) и мотивом неправильного воспитания.

Огарев женится на женщине, которая по своему характеру и культурным установкам не может ни разделить его интеллектуальных интересов, ни войти в круг его друзей. Герцен «случайно» изменяет Natalie с юной Катериной, в целом не считая этот поступок аморальным (хотя в книге несколько раз поднимается тема харрасмента в дворянских домах), а, напротив, очень естественным («Как хороша природа, когда человек, забываясь, отдается ей, теряется в ней...»⁸). Отчасти оправдывая его порочностью девушки, «вешавшейся каждому на шею» (IX, 98), он сожалеет только о боли, причиненной им жене. При этом, однако, он указывает на то, что сама по себе ее ревность в данном случае — «предрассудок», анахронизм. Но упрекать женщину за такое нельзя в силу того, что до сих пор никто не предпринимал должных усилий, «чтобы разбить в них предрассудки» (IX, 98). Третий случай — самый драматичный: он акцентирует внимание на культурном разрыве между людьми, как бы живущими синхронно в разных исторических эпохах, принадлежащих к «разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории» (IX, 236). Драма же заключается в том, что Серафима, воспитанная «в старообрядческом скиту», принадлежащая к ментальности «допетровских времен», в отношениях с Кетчером и в кругу его передовых друзей оказывается в ситуации ложного равенства, скрывающего, а не преодолевающего «худшее из неравенств — неравенство развития», и тем самым способствующее формированию в человеке худшего качества — мещанства: «Мы — революционеры, социалисты, защитники женского освобождения — сделали из наивно-го, преданного, простодушного существа *московскую мещанку!*» (IX, 242).

Все это на первый взгляд выглядит как серия аллегорий о пользе просвещения, линейно-прогрессивистской модели развития и соответствующего ей

8 Эта история приведена в рукописном отрывке главы XXVIII (часть четвертая), которая не была напечатана в авторизованном тексте (IX, 97).

«необходимого» хода истории, а также коррелирует с проблематикой, созвучной Bildungsroman'у. Вспомним идею И. Паперно о «Былом и думах» как гегельянском Bildungsroman'е. И действительно, в этих историях, кажется, всюду присутствует дух Гегеля. В «случае» Огарева даже упоминается диалектика, правда, скорее как средневековая учебная дисциплина. Однако в ближайшем контексте говорится о «таланте воспитания, таланте терпеливой любви», способном «спасти» глухой к саморазвитию дух женщины. Диалектика господина и раба принимает форму воспитательной диалектики наставника и ученика.

Однако трудно пройти мимо того, что все три истории — про фатальную неудачу линейной, поступательной диалектики и проекта воспитания. Истовый и искренний Николай Платонович стремится вовлечь Марию Львовну в круг «прогрессивных» идей. Но это «симпатическое влияние» лишь едва «скользнуло по сердцу этой женщины, не оставив на нем никакого благотворного следа» (IX, 15). История горничной Катерины напрямую связана с личной катастрофой Герцена и Natalie, и, как водится, снабжена соответствующими пролепсисами, отсылающими к пятой части книги и «рассказу о семейной драме». История Серафимы и вовсе приобретает всемирно-историческое звучание: Герцен сравнивает судьбу бедной девушки, которую погубило поспешное вхождение в круг молодых революционных гегельянцев, живущих будущим и безразличных к «историческим» потенциам ее личности, — с тем, как «Конвент, якобинцы и сама коммуна сделали из Франции мещанина, из Парижа — *épicier*» (IX, 242). Во всех этих случаях воспитатели и преобразователи проигнорировали проблему анахронической «одновременности неодновременного», «историческое не-равенство во времени» [Бевернаж 2016: 189] своих жертв (впрочем, Natalie — тоже жертву — Герцен не мыслит как исторически неравного себе человека, несмотря на означенные «предрассудки»).

Все эти сюжеты, особенно последний, в самом деле напоминают пусть несостоятельную, но линейно-прогрессивистскую схему исторического развития, взятую в синхронии. Даже то, что Герцен так сконцентрирован на социальном и гендерном аспектах различных исторических эпох, сошедшихся в современности, может быть аргументом в пользу телеологичного историзма развития: ведь и прогрессивистская история, пусть и где-то на периферии, включает в себя элементы устаревшего, отсталого. Более того, в этом и визуализируется линейность современного времени — в социальной топологии элиты и народа, метрополий и колоний, цивилизации и «варварства» [Ссорин-Чайков 2011; Кобылин 2016]. Подход Герцена, однако, отличается тем, что он *проблематизирует* сам механизм интеграции анахроничного агента (будь то Серафима или французский народ) в современность, устремленную в гипотетическое будущее гражданства и равенства. Из этой ситуации есть два плохих выхода: либо, полагая просвещение и прогресс естественным трендом истории, не замечать в ней инновенных включений (так делают в представленных «случаях» Огарев и сам Герцен), либо же впустить *другого* в современность, уравняв его с собой во времени⁹ и закрыв глаза на реальную историческую инаковость этого другого (как делают друзья в истории Серафимы). Подлинная проблема такой анахронии, по Герцену, заключается в том, что нечто из иной

9 Герцена не устраивает ни поступательность историзма, ни иллюзорное уравнивание во времени разновременного. Ср. критику презентистской мультитемпоральности в духе Й. Фабиана и Ф. Артога: [Бевернаж 2016; Морфино 2021; Lorenz 2019].

эпохи не может быть без остатка интегрировано в гомогенную современность. Поэтому сама современность должна быть понята как то, что содержит в себе множество времен и, следовательно, может развиваться множеством разных способов. Проблема анахронии разрешается путем выявления контингентности в истории.

В «случае» Серафимы анахрония понимается почти по-рансьеровски [Рансьер 2016: 221] — не как нарушение хронологии, а как «символическое» наложение эпох, как несоответствие «своему времени» в плане веры и знания: герценовские друзья-интеллектуалы не допускают в Серафиме сознания, несовместимого с современностью, и, не считаясь с ее субъектностью, вписывают ее в круг собственных понятий о равенстве и эмансипации женщины, реально не способствуя ни тому, ни другому. Проблема исторической множественности как проблема «всемирного» развития обществ наиболее масштабно предстает в знаменитой главе «Роберт Оуэн» (часть шестая, глава IX), в которой не только сам герой выступает как вестник желанного (а не неизбежного!) будущего, но и общество в целом описывается как конфликтное мультитемпоральное образование: «Внизу и вверху разные календари. Наверху XIX век, а внизу разне XV, да и то не в самом в низу, — там уж готтентоты и кафры различных цветов, пород и климатов» (XI, 225). Это уже отчасти напоминает стратиграфическую модель «слоев времени», конкурирующую с линейной поступательностью истории [Йордхайм 2021; Koselleck 2000]. Причем в этой главе, одной из наиболее «активистских» в тексте, присутствие прошлого и будущего в настоящем мыслится не только как то, что «долго продержит на ногах старый порядок», но и как возможность перейти от линейности к гетерогенному пространству истории (ср. в главе IX образы истории как текста, ткани или моря), что, помимо прочего, дает шанс для политических изменений: «мы можем переменить узор ковра» (XI, 249).

«Урок» герценовских «случаев» в том, что такого рода анахронии не столько указывают на отставание или опережение, сколько позволяют раскрыть специфический потенциал наложения времен, который может повлиять на ход истории, стать шансом на освобождение — прошлого в настоящем и настоящего в качестве прошлого. Поэтому так важна «странная» аналогия между судьбой Серафимы и французским народом, который был механически подверстан под революционное «веление времени». Именно такое чреватое исторической новизной начало (коллективизм, взаимопомощь, способность к неподчинению и низовой самоорганизации) Герцен предлагает увидеть в другом уникально-анахроничном феномене — русской общине как возможности исторического прорыва в социализм (ценного не только в национальном, но и во «всемирно-историческом» контексте, то есть не являющегося ни единичным, ни общим). При этом сама эта община, которая, будучи не просто инородным элементом в текущей исторической темпоральности, но и настоящей «традицией угнетенных», *может быть* «спасена» — через «встречу» с социалистической идеей, через «диалектический образ» или асинхронную «констелляцию» исторически разнородного, в частности элементов «культуры» с элементами «варварства» [Беньямин 2012: 240]¹⁰.

10 Исследователи политических идей подчеркивают характерную для Герцена диалектику историко-культурного разрыва и соединения принципиально гетерогенного: Андрей Тесля пишет о роли варваров в ранней драме «Лициний» и факторе

Видимо, среди критически настроенных гегельянцев Герцен один из первых, кто указал на исторический, политический и поэтический потенциал анахронии и контингентности — и прежде всего в «Былом и думах», в этом пробном пространстве своего исторического воображаемого. После него (а отчасти и синхронно) К. Маркс, для которого фактор русской общины стал значительным вызовом, а позднее Э. Блох, В. Беньямин, А. Грамши, Л. Альтюссер и другие разрабатывают эту «подпольную» линию историзма, не отказываясь при этом от идеи истории и исторической диалектики как таковой [Морфино 2021: 246]. Но возможно, радикальнее других Герцен говорит о том, что революционная диалектика невозможна в одиночестве, без другого, если угодно, без любви (отсутствие любви — главный фактор исторического провала во всех трех рассмотренных «случаях» из «Былого и дум»). Диалектика, по Герцену, теряет смысл в гомогенном времени именно потому, что в таком случае происходит механическое движение отрицания, исходящего не из *возможности* иного, а из отрицания данного, то есть из того-же-самого, отрицающего себя самое и потому теряющего потенциал негативности как преобразовательной силы (о чем впоследствии будут писать Адорно и Деррида).

Герцен ищет альтернативу торжеству «пустого и гомогенного времени» [Беньямин 2012: 246], сводящему к общему знаменателю скрытый в истории революционный шанс на избавление, на «искупление всего, что было» [Агамбен 2018: 61]. Можно предположить, что такой альтернативой становится именно особое понимание «случая» в «Былом и думах».

В рассмотренных выше трех историях Герцен отказывается от *негативного* определения «случая». Осмысляя все эти казусы «встречи», схождения мужчины и женщины, он пишет: «У людей, у которых жизнь не подтасована, не приведена к одной мысли, уровень устанавливается легко; у них все случайно, вполнину уступает он, вполнину она; да если и не уступают — беды нет» (IX, 16). «Случай» трактуется не как случайность, то есть не как отрицание необходимости. Но он также не является отрицанием случайности. Совместность, солидарное движение навстречу, готовность и открытость случаю делают его не-случайным: «Случай всегда находится, особенно когда ни с одной стороны его не избегают» (IX, 97). «Случай» рассматривается как *шанс*, кайрос¹¹, — в данном контексте как *возможность* подлинного равенства, то есть соучастия разных эпох в совместном историческом процессе. Это не гомогенизация, не тотальное тождество «синтеза», а универсальность сингулярного, как в агамбеновском «примере». Кроме того, герценовский «случай» как совмещение разнородного это также условие со-общества — сообщества *любых* [Агамбен 2008: 9—11], грядущего сообщества любви и братства¹². Ло-

«молодого народа» в концепции русского социализма [Тесля 2021: 63—69]; Евгений Блинов, анализируя письмо Герцена Мишле, отмечает, что ход его мысли типологически близок поиску акратических обществ в анархической антропологии рубежа XX—XXI веков — у Ж. Делёза и Ф. Гваттари, Э. Вивейруша де Кастру, Д. Гребера и др. [Блинов 2023: 27—31].

11 В свете сказанного выше о процессе воспоминания (в широком, беньяминовском смысле, не сводящемся только к работе индивидуальной или коллективной памяти) как «спасения» у Герцена, для меня здесь особенно ценны «мессианские» ассоциации этого понятия, глубоко исследованные Дж. Агамбеном [Агамбен 2018: 93—94].

12 Еще в дневниках Герцена 1840-х годов можно встретить неоднократные попытки найти обоснование «коммунизма» как «братства», а не как «негации» (II, 345).

гика Герцена, хотя «неизбежность» и фетишизацию прогресса он критикует (XI, 248), в пределе, конечно, тоже ориентирована на утопический горизонт будущего. Но в нарративе «Былого и дум» она то и дело сталкивается с тем, что главное неравенство — неравенство темпоральное, историческое — не может быть просто «снято», «переплавлено» в некое новое нерасчлененное тождество посредством монотонной работы негативности, вращающейся вокруг самой себя в череде европейских революций и, помимо усредняющей серости буржуа, ведущей только к бессильной меланхолии [Магун 2008: 66—75]. Контингентный «случай» оказывается скорее не-отрицанием¹³, возможностью деактивировать замкнувшуюся на себя негативность и обратиться к другому — к тому, что диалектика, казалось бы, призвана «снять» и утилизировать — к прошлому в его своеобразии и его потенциальности.

Диалектический *Bildungsroman*, инсталлированный в «растрепанную импровизацию» (XI, 246) «Былого и дум», согласно фабульному времени, завершается уже *в самом начале* повествования, так как Герцен приступает к своему рассказу, когда в его историческом воображаемом уже произошло смещение от историзма «развития» к «радикальному» историзму. Поэтому сквозь монументальный линейный «сюжет» личностного становления-большой-историей все время просвечивают¹⁴ другие временные планы, предвосхищая историю новую. И мы оказываемся вне того пустого и гомогенного времени «сюжета», каким оно, как нас стремится убедить стратегия наррации, на самом деле никогда и не было. Начиная свой рассказ осенью 1852 года, Герцен изначально *прерывает* линейно развертывающийся «сюжет». То есть в действительности эта подлинная история (и как *story*, и как *history*) не заканчивается, а, виртуализируя и потенцируя прошлое, только *начинается* в новом хронотопе исторической контингентности. Хаотичные темпоральные перемещения нарратора не стремятся ни придать истории ход, ни остановить ее: они оказываются жестом, деактивирующим заданность ее траектории, ее смысла и цели¹⁵.

В этом отношении интересно, как «мерцают» герценовские метафоры истории: то это дорога, на которой можно «случайно» очутиться (что в свете сказанного меняет представление о направленности такой дороги, о ее единственности и предопределенности движения путника), то это знаменитое «море/океан» из главы «Роберт Оуэн». Интересно, однако, сравнить три герценовских моря истории. Первое море — это знаменитая характеристика гегелевской «Феноменологии духа» из письма А.А. Краевскому 1842 года (XXII, 128). Второе — трагический пейзаж из главы «Осепано пох» как часть «рассказа о семейной драме» — море, в котором гибнут мать и сын, образ катастрофы. И третье —

13 Я понимаю это не в смысле «саморазрушения негативного» (Делёз), а скорее в смысле агамбеновского определения контингентности через потенциальность — «возможность не не-быть» [Агамбен 2008: 97], структурно предшествующую негативности [Там же: 45]. Не-отрицание поэтому не есть «отрицание отрицания» как полная реализация поступательно-диалектического цикла, а также не «чистая трагедия» Батая или «негативная диалектика» Адорно, скорее это жест остановки заданного движения отрицания, удержание его в исходном состоянии потенциальности, и, возможно, даже обещание *другой* диалектики.

14 Но здесь, по-моему, важна не столько статичная метафора палимпсеста [Кукулин 2002: 118], которая характеризует скорее сам текст как продукт, сколько повествование как действие и процесс.

15 Снова отсылаю здесь к Дж. Агамбену и его теории жеста [Агамбен 2015].

то самое море исторических потенций из «Роберта Оуэна». Интересно, что море здесь тоже выступает для человека «путем сообщения» (XI, 246). Но этот путь не гарантирует ни маршрута, ни цели, ни успеха в ее достижениях.

Стало быть, гегелевскую диалектику и магистральный историзм современности Герцен изначально представлял себе то как устремленный к цели путь, то как море, исполненное возможностей, не сводимых к какому-то одному маршруту, — и в этом море еще предстоит наладить навигацию.

«Былое и думы» не нарративный хаос, в этом нагромождении фрагментов, пронизанных множеством связей, порой причудливо-ассоциативных, по слову автора, «единство есть» (VIII, 9). Но это единство, на мой взгляд, создается не только «сюжетом» или каким-то естественным ходом истории, предстающим в виде органицистской синекдохи, единящей личное и всемирное как частное и общее. Органическое начало как характерный мотив своего времени (и, что важно, времени до «катастрофы» 1848 года и последующей «семейной драмы») также, безусловно, присутствует в тексте. Но в ее специфическом агрегатном состоянии книга держится скорее той нарративной интригой, тем запутывающим и увлекающим мельтешением повествователя, беспрестанно скачущего между разными темпоральными уровнями, тем вторжением акта высказывания в его содержание, которое по сути является авторским жестом *отказа* от конечной сборки — от результирующей, от заданной цели и конечного смысла всей истории (личной и всемирной). Это, как указывает Герцен в самом начале, вовсе не неспособность объединить и упорядочить «рапсодичные отрывки», «переплавить» (VIII, 9) историю в гегелевском «снятии», это — опять-таки — не-отрицание единства как определенная стратегия мысли и письма. Такая финальная сборка в тексте только намечена и обещана, а происходит она (вернее, *может* произойти) в воображении читателя, сообщества читателей.

К ним (к нам), к этому новому субъекту истории, который способен представить ее себе как море возможностей, адресованы слова:

...Теперь вы понимаете, от кого зависит будущность людей, народов?

— От кого?

— Как от кого?... да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого сложить руки?

(XI, 253)

Автор в это грядущее сообщество тоже включен, поэтому перед нами не монолог, а диалог.

История в «Былом и думам» понимается по-гегелевски — как действительность, то есть то, что производится действием и, находясь в постоянном изменении, является частью этого действия. Но, по Герцену, диалектическое движение вовсе не обязательно есть продолжение движения, заданного какой-то естественной, «органической» логикой времени, подчиненного законам неизбежного прогресса. Поэтому деятельность нарратора «Былого и дум», не просто создающего «сюжет» личного и всемирного развития как правдивую репрезентацию исторической действительности, но и постоянно нарушающего развертывание этого «сюжета», выявляет возможности иных траекторий его развертывания. По Изеру, репрезентация как акт воображения — это не только мимесис, но и перформанс [Iser 1991: 481—504], тестирующий сами принципы репрезентации, сам потенциал воображаемого. При этом важно, что такая перформативность «может быть реализована только в акте чтения» [Ibid.: 495].

«Былое и думы» — это грандиозный повествовательный перформанс, в котором *Bildungsroman* и диалектический историзм подвергаются радикальному острашению, рассматриваются снаружи и изнутри, «выставляются на показ» в качестве концепта, чтобы быть деактивированными и (возможно) перезапущенными заново, потенцируя дремлющую в них историческую контингентность.

Библиография / References

- [Агамбен 2008] — Агамбен Дж. Грядущее сообщество / Пер. с итал. Д. Новикова. М.: Три квадрата, 2008.
- (Agamben G. La comunità che viene. Moscow, 2008. — In Russ.)
- [Агамбен 2015] — Агамбен Дж. Заметки о жесте // Агамбен Дж. Средства без цели. Заметки о политике / Пер. с итал. Э. Саттарова. М.: Гилея, 2015. С. 55–66.
- (Agamben G. Note sul gesto // Agamben G. Sredstva bez tseli. Zametki o politike. Moscow, 2015. P. 55–66. — In Russ.)
- [Агамбен 2018] — Агамбен Дж. Оставшееся время: комментарий к Посланию к римлянам / Пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- (Agamben G. Il tempo che resta. Un commento alla “Lettera ai Romani”. Moscow, 2018. — In Russ.)
- [Барт 2019] — Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Академический проект, 2019.
- (Barthes R. Systeme de la mode. Moscow, 2019. — In Russ.)
- [Бевернаж 2016] — Бевернаж Б. Аллохронизм, равенство во времени и современность. Критика проекта радикальной современности Йоханнеса Фабиана и доводы в пользу новой политики времени / Пер. с англ. К. Сарычевой под ред. А. Олейникова // Социология власти. 2016. № 2. С. 174–202.
- (Bevernage B. Allochronism, equality in time and modernity. A critique of Johannes Fabian’s project of radical modernity and arguments for a new politics of time // Sotsiologiya vlasti. 2016. No. 2. P. 174–202. — In Russ.)
- [Беньямин 2012] — Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения / Пер. с нем. И. Болдырева, А. Белобратова и др. М.: РГГУ, 2012.
- (Benjamin W. Die Lehre vom Ähnlichen. Medienästhetische Schriften. Moscow, 2012. — In Russ.)
- [Блинов 2023] — Блинов Е.Н. «Самый независимый человек в свете»: Герцен об истоках и смысле русского номадизма // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 7. № 3. С. 15–35.
- (Blinov E.N. “Samyy nezavisimyy chelovek v svete”: Gertsen ob istokakh i smysle russkogo nomadizma // Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. 2023. Vol. 7. No. 3. P. 15–35.)
- [Гинзбург 1957] — Гинзбург Л. «Былое и думы» Герцена. Л.: ГИХЛ, 1957.
- (Ginzburg L. “Byloe i dumy” Gertsena. Leningrad, 1957.)
- [Гинзбург 1977] — Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Художественная литература, 1977.
- (Ginzburg L. O psikhologicheskoy proze. Leningrad, 1977.)
- [Дулова 1998] — Дулова Н.В. Поэтика «Былого и дум» А.И. Герцена. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1998.
- (Dulova N.V. Poetika “Bylogo i dum” A.I. Gertsena. Irkutsk, 1998.)
- [Женетт 1998] — Женетт Ж. Фигуры / Пер. с фр. С. Васильевой, Е. Гальцовой и др. под ред. С. Зенкина: В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998.
- (Genette G. Figures: En 2 t. T. 2. Moscow, 1998. — In Russ.)
- [Йордхайм 2021] — Йордхайм Х. Множественное время и стратиграфии истории / Пер. с англ. И. Кобылина // Логос. 2021. Т. 31. № 4. С. 95–118.
- (Jordheim H. Multiple times and stratigraphies of history // Logos. 2021. Vol. 31. No. 4. P. 95–118. — In Russ.)
- [Кобылин 2016] — Кобылин И. История и топология: падение и взлет анахронизма // Социология власти. 2016. № 2. С. 15–34.
- (Kobylin I. Istoriya i topologiya: padenie i vzlet anakhronizma // Sotsiologiya vlasti. 2016. No. 2. P. 15–34.)

- [Кукулин 2002] — *Кукулин И.* Поворот без поколения: Александр Герцен и Лидия Гинзбург как революционеры жанров // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 118—132.
- (*Kukulin I.* Povорот bez pokoleniya: Aleksandr Gertsen i Lidiya Ginzburg kak revolyutsionery zhanrov // Novoe literaturnoe obozrenie. 2002. No. 58. P. 118—132.)
- [Магун 2008] — *Магун А.* Отрицательная революция. К деконструкции политического субъекта. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2008.
- (*Magun A.* Otritsatel'naya revolyutsiya. K dekonstruktsii politicheskogo sub"ekta. Saint Petersburg, 2008.)
- [Морфино 2021] — *Морфино В.* Чесать марксистскую традицию против шерсти / Пер. с англ. А. Запольской // Логос. 2021. Т. 31. № 4. С. 137—170.
- (*Morfino V.* The marxist tradition against the grain // Logos. 2021. Vol. 31. No. 4. P. 137—170. — In Russ.)
- [Олейников 2021] — *Олейников А.* Современная историчность и политика времени // Фонд «Либеральная миссия». 26.04.2021 (<https://liberal.ru/authors-projects/sovremennaya-istorichnost-i-politika-vremeni> (дата обращения: 06.10.2023)).
- (*Oleynikov A.* Sovremennaya istorichnost' i politika vremeni // Fond "Liberal'naya missiya". 26.04.2021 (<https://liberal.ru/authors-projects/sovremennaya-istorichnost-i-politika-vremeni> (accessed: 06.10.2023)).)
- [Паперно 2004] — *Паперно И.* Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 4 (68). С. 102—127.
- (*Paperno I.* Sovetskiy opyt, avtobiograficheskoye pis'mo i istoricheskoye soznanie: Ginzburg, Gertsen, Gegel' // Novoe literaturnoe obozrenie. 2004. No. 4 (68). P. 102—127.)
- [Рансьер 2016] — *Рансьер Ж.* Понятие анахронизма и истина историка / Пер. с фр. В. Земсковой // Социология власти. 2016. № 2. С. 203—223.
- (*Rancière J.* Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien // Sotsiologiya vlasti. 2016. No. 2. P. 203—223. — In Russ.)
- [Ссорин-Чайков 2011] — *Ссорин-Чайков Н.* Множественная темпоральность: перевод, обмен и антропология времени // Пути России. Будущее как культура: прогнозы, репрезентации, сценарии / Ред. М.Г. Пугачева, В.С. Вахштайн. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 7—30.
- (*Ssorin-Chaykov N.* Mnozhestvennaya temporal'nost': perevod, obmen i antropologiya vremeni // Puti Rossii. Budushchee kak kul'tura: prognozy, reprezentatsii, stsennarii / Ed. by M.G. Pugacheva, V.S. Vakhshayn. Moscow, 2011. P. 7—30.)
- [Тесля 2021] — *Тесля А.* Революционная версия русского национального исторического нарратива: «О развитии революционных идей в России» А.И. Герцена // Социология власти. 2021. № 2. С. 59—79.
- (*Teslya A.* Revolyutsionnaya versiya russkogo natsional'nogo istoricheskogo narrativna: "O razvitiu revolyutsionnykh idey v Rossii" A.I. Gertsena // Sotsiologiya vlasti. 2021. No. 2. P. 59—79.)
- [Хестанов 2001] — *Хестанов Р.* Александр Герцен. Импровизация против доктрины. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.
- (*Khestanov R.* Aleksandr Gertsen. Improvizatsiya protiv doktriny. Moscow, 2001.)
- [Шпет 1921] — *Шпет Г.Г.* Философское мировоззрение Герцена. Пг.: Колос, 1921.
- (*Shpet G.G.* Filosofskoye mirovozzrenie Gertsena. Petrograd, 1921.)
- [Bevir 2015] — *Bevir M.* Historicism and Critique // Philosophy of the Social Sciences. 2015. Vol. 45. No. 2. 227—245.
- [Iser 1991] — *Iser W.* Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991.
- [Kelly 2016] — *Kelly A.M.* The Discovery of Chance. The Life and Thought of Alexander Herzen. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- [Kliger 2007] — *Kliger I.* Auto-Historiography: Genre, Trope, and Modes of Emplotment in Aleksandr and Natal'ja Gercen's Narratives of the Family Drama // Russian Literature. 2007. Vol. 61. Iss. 1—2. P. 103—138.
- [Koselleck 2000] — *Koselleck R.* Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2000.
- [Lorenz 2019] — *Lorenz Ch.* Out of Time? Some Critical Reflections on Francois Hartog's Presentism // Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism. London; New York: Bloomsbury Academic, 2019. P. 23—43.
- [White 2014] — *White H.* The Practical Past. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2014.